

*Ульрих Бек*

# КРИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МИРОВОГО ОБЩЕСТВА РИСКА

## КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

**К**ритическая теория мирового общества риска должна отвечать по крайней мере на три вопроса: (1) Каково основание критики? Что именно «критическое» в критической теории? (этот вопрос образует нормативный горизонт мирового общества риска) (2) Каковы ключевые тезисы и центральные аргументы данной теории? Следует ли ей быть эмпирической теорией общества с критической интенцией? (3) В какой мере эта теория порывает с автоматизмом в понимании модернизации и глобализации, которые принимались как само собой разумеющиеся, и вновь разъясняет всем нам открытость человеческого действия будущим космополитическим альтернативам в перспективах начала XXI в.?

### **1. Нормативный горизонт мирового общества риска: космополитизм нормативный и космополитизм дескриптивный**

#### *Категория риска и ее двусмысленность*

Тонкость рассуждений, которую требует социологическая категория риска, часто недооценивают по нескольким причинам:

- Прежде всего это неограниченное поглощение всей окружающей реальности: категория риска готова вобрать в себя и переработать все. Она подчиняется принципу «Все или ничего». Если какая-то группа интересна наличием риска, то все остальные ее свойства исчезают из поля зрения, и она определяется только через риск. Таким образом, она маргинализуется, если не вообще исключается из рассмотрения.
- Классические дистинкции «растворяются» в разных степенях риска: получается, что «функции риска» — интеллектуальная кислота, разъедающая любое классическое определение. В горизонте риска вообще не может существовать бинарных оппозиций: разрешенное / запрещенное, законное / незаконное, истинное / ложное, «мы» / «они». Ведь на грани риска

люди уже не могут быть «хорошими» или «дурными», но только рискующими *в разной степени*. Любой человек для любого человека представляет большую или меньшую степень риска. Качественное различие *или/или* вытесняется количественным различием *большой степени и меньшей степени*. Нет человека, который бы не рисковал, потому что, как мы только что сказали, каждый человек создает другому больший или меньший риск.

- Неясен онтологический статус риска. Риск не тождествен катастрофе; но он представляет собой предвосхищение в настоящем катастрофы когда-то в будущем. В результате риск оказывается вещью сомнительной, ломкой, мнимой, шаткой и смутной: он одновременно существует и не существует, наличествует и не наличествует, реален и сомнителен. В конце концов хочется признать, что риск двусмыслен и что его настоящие основания — политика страха и политика предупреждения опасности. Предвосхищение опасности заставляет быть осторожными, а это требует, например, расчетов: скажем, «евроцент евро бережет», только если как реально существующая принимается угроза разорения, которой нет или пока нет.
- Индивидуальная и социальная ответственность также должна быть уточнена. Даже в наименьшем из подлежащих рассмотрению микрокосмов риск образует социальное отношение, отношение между по крайней мере двумя людьми: тем, кто принимает решение и потому берет на себя риск, и тем, кто провоцирует последствия для других, кто не может, или же может только с большими трудностями, себя защитить. Следовательно, необходимо различать между двумя пониманиями ответственности: индивидуальной ответственностью, которую принимает автор решения за последствия его (ее) решений, и социальной ответственностью, то есть ответственностью за других людей. Риски заставляют нас выдвинуть на первый план вопрос (одновременно отстаивающий и девальвирующий теорию), какие «побочные эффекты» несет риск для других, кто эти другие и в какой степени они вовлечены в принятие решений.
- Проблемным является также глобальное пространство ответственности. Глобальные риски, как мы уже не раз писали, порождают для всех нас сложную морально-политическую сферу ответственности, в которой все «другие» могут присутствовать, а могут отсутствовать, могут оказаться близко, а могут далеко, и в которой действия не могут быть «добрыми» или «злыми», но только более или менее рискованными. Значения таких слов, как «близость», «взаимость», «достоинство», «справедливость» и «доверие» трансформируются в горизонте ожидания глобальных рисков.
- Следует заметить, что сообщества риска «склеивают вместе» любые различия. Глобальные риски содержат в свернутой форме ответ на вопрос, каким образом нового типа сообщества риска, не имеющие ни четко выраженного происхождения, ни пространственной привязки, могут возникать и утверждаться в какофонии глобализующегося мира<sup>1</sup>. Одной из самых

1. Исследуя, какой вызов теория мирового общества риска бросает привычным исследованиям в этой области, М. Дж. Уильямс (M. J. Williams) пишет в своей ста-

поразительных и при этом почти не рассматриваемых, несмотря на всю важность, черт глобальных рисков является их способность порождать своего рода «принудительный космополитизм», «склеивающий» любые различия и любую множественность в мире, в котором границы так же проницаемы, как дыры в швейцарском сыре (во всяком случае, если иметь в виду коммуникацию и экономику).

При этом важно, описываем ли мы единство в различии (во всяком случае, при одномоментном замере) как созданное опытом угрозы или же исходим из того, что политика признания различий направляется какими-то отвлеченными нормативами — скажем, сопротивлением универсализму, который отрицает важность различия, или сопротивлением национализму, создающему равенство в различии только внутри национального контекста, или сопротивлением мультикультурализму, который утверждает различие монокультур тоже в национальном контексте. А именно, *космополитический момент* мирового общества риска может пониматься и *описательно*, и *нормативно*. Поэтому я различаю между двумя пониманиями космополитизма широкое понимание, в котором я отмечаю нормативность момента космополитизации, и узкое понимание, в котором любая эмпирическая космополитизация должна изучаться (во всяком случае, вначале) аналитически-описательно<sup>2</sup>.

Не нужно повторять, что я всегда разрабатывал одну из критических теорий, а вовсе не Общую критическую теорию, и основывался только на теории мирового общества риска. Поэтому сразу понятны границы компетенции нашей критической теории<sup>3</sup>. Угол зрения здесь смещается от описательного подхода к нормативному<sup>4</sup>.

Способ, которым «другой» представлен и явлен (presented and represented)

тье «(In) Security Studies, Reflexive modernization and the Risk Society» (Cooperation and Conflict. 2008. Vol. 43. № 1. P. 57–79), что формирование сообществ риска стало одним из главных вопросов при изучении международных отношений, в частности реформы НАТО.

2. В своей критической рецензии Уильям Смит замечает: «Конечно, мы рискуем слишком расширить понятие космополитизма, если хотим, чтобы оно включало в себя и социологическое объяснение, и философский анализ норм. Тогда будет трудно четко сфокусировать различие между „действительно существующей“ космополитизацией и ее фиксацией в философски рассматриваемых нормативах. Но в последних главах такой масштабной интеллектуальной постройки, какой является трилогия Бека, содержится несомненное стремление вернуть понятие космополитизма вновь на грешную землю. Бек доказывает, что космополитический характер мышления обогащает социологию и что социология, в свою очередь, тоже может обогатить космополитическое мышление» (Smith W. A cosmopolitan sociology: Ulrich Beck's trilogy on the global age // Global Networks. 2008. Vol. 8. № 2. P. 259).
3. Эти тезисы можно развить, подключив другие параметры, выясненные теорией рефлексивной модернизации, в частности *индивидуализацию* и *космополитизацию*, см.: Deck V., Grande E. Cosmopolitan Europe. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 28–31.
4. Silverstone R. Media and Morality: On the Rise of Mediapolis. Cambridge: Polity Press, 2006.

свидетелям глобального риска, существенен для установления в мире моральных принципов. Этапный опыт текущих и возможных катастроф и войн стал ключевым в наши дни — он доказывает, что люди не могут быть друг без друга и что они делают друг с другом общие угрозы. Будущее оказывается непрочным и готовым рухнуть и погрести под своими обломками всю повседневную жизнь. Но если говорить о нормативах, то представление и явление другого требует не только воображения и слуха, но и понимания смысла. Предполагается понимание чужого другого, «космополитическое понимание», или, если говорить в терминах гуманитарных и социальных наук, «космополитическая герменевтика»<sup>5</sup>.

Чарльз Хасбанд<sup>6</sup> дополняет здесь Юргена Хабермаса. Раскрывая спектр значимости множества голосов, с которыми одни обращаются к другим, мы отстаиваем не только право на коммуникацию, но и право на то, чтобы быть понятыми. Наличие множественности голосов, доказывает Хасбанд, остается бессмысленным в самой своей сути, если за голосами не кроется право быть услышанным и понятым.

Космополитическое понимание сводится, с одной стороны, к специфическому, хотя и тоже ограниченному, обоснованию космополитизма (прежде всего в связи с тем что все провалы слушания и понимания — оборотная сторона образовательной системы, замкнутой на национальную интеграцию и гомогенность), а с другой стороны — к осознанию невозможности слушать всех одновременно. Таким образом получается, что космополитизм слышания и слушания (*listening and hearing*) заранее предполагает сознательное определение границ: что именно не будет услышано и потому понято. Космополитическое понимание впервые сделало возможным, благодаря такому отрефлектированному «отбору», изменяющему наш угол зрения, включение «другого» в нашу собственную жизнь уже не на поверхностном, а на глубинном уровне. Осуществившееся образцовое понимание другого тогда расширяет наше поле зрения уже в космополитических масштабах.

Глобальная угроза порождает своего рода импорт морали. Среди прочего в конфликтах космополитического риска, производимых в медиа:

- все ресурсы служат выработке суждения, хотя бы избирательного и обобщенного;
- сенсационные истории представляются так, что выводят нас из состояния апатии и дают нам новые позиции и перспективы, в результате:
- мы подключаемся к передаче сообщений, игнорирующих границы;
- уменьшается число институционализованных призывов к объективности и истине;

5. Хотя классическая социология много говорит о «другом», но это явно универсализированный «другой», а не чужие нам другие, говорящие на различных языках и живущие в своих частично пересекающихся, а частично несовместимых прошлых и будущих временах.

6. *Husband Ch. Media and the Public Sphere in Multi-Ethnic Societies*. Philadelphia, PA: Open University Press, 2000.

- глобальные риски расширяют наши экзистенциальные горизонты, потому что вовлекают в наш мир, хотя бы на миг, другие вещи, других людей и предъявляют нам реальность страданий и разрушений, не считающихся с границами, которые пролетели некогда между нашими жизненными мирами.

Как заметил Кэвин Робинс в своем разборе того, как была представлена война в Персидском заливе в массмедиа, эта форма импорта морали имеет свои пределы:

Экран ставит обычного зрителя перед страшной реальностью, но при этом все страшное оказывается за границами экрана. Перед нами несомненная моральная легковесность: телевидение дарит нам острые ощущения (*sensation*), не требуя от нас никакой ответственности, и вовлекает нас в спектакль, совершенно не знакомя нас с его действительной сложной реальностью<sup>7</sup>.

Это замечание в чем-то верно и в чем-то неверно. Медийное освещение катастроф действительно достигло уровня тотальности: оно всегда висит теперь над нашей мирной повседневностью. Но все же при этом нужно признать, что само утверждение шока в его уникальности и аутентичности сокращает дистанции между событиями, и возникшая близость заставляет нас принять этическую позицию, превосходящую любые условные границы.

Категория гостеприимства заняла центральное место в каноническом космополитизме начиная с Иммануила Канта. Смысл этого этического принципа прост — принимать чужестранцев становится не актом доброй воли, но обязанностью. А это значит, что человек не просто распоряжается собственной свободой слова, но следует обязанности слушать и понимать. Кант думал о праве свободного перемещения, которое вытекает из общей сопричастности лиц друг другу как делящих ответственность за жизнь на земле. Так как размеры земли ограничены, люди не могут до бесконечности уходить друг от друга, снимая с себя всякий раз ответственность, но вынуждены жить вместе. Мы видим, что на небольшой планете Земля люди живут по соседству друг с другом. И столь же несомненно, что ни один человек не может потребовать себе больше прав на пользование планетой, чем другие люди.

Но что означает это право на гостеприимство с точки зрения глобальных рисков? Основное различие здесь состоит в степени, в какой гостеприимство строится на приглашении, и значит, в степени, в какой люди неприглашенные, скажем, лишившиеся крова, могут требовать себе гостеприимства. Может ли гостеприимство быть «принудительным»? Ж. Деррида доказывает, что не может быть гостеприимства вне дома, места, куда приглашают, а значит, не может быть гостеприимства без приглашения.

7. *Robins K. Into the Image: Culture and Politics in the Field of Vision. New York: Routledge, 1996. P. 80.*

Но с точки зрения глобальных рисков это непринципиально. Ведь вся особенность здесь будет в том, что в глобальном пространстве ответственности за глобальные риски никому нельзя отказать в гостеприимстве. А при свете исчерпывающего освещения в медиа глобальных катастроф другие и чужестранцы обрели для нас самые конкретные очертания, как и мы для них; неважно, нравится ли нам или им это или нет, признается ли это, осознается ли это или нет. С нами самими может случиться что угодно, и значит, в угрожаемом мире каждый может оказаться чужестранцем, и таким образом, мы не можем отклонить призыва о помощи и жалости, и мы обязаны слушать его и понимать. Конечно, все это происходит естественным путем. И нужно сразу добавить, что это происходит тем более эмоционально и страстно, чем более несомненными становятся названные призывы. Эксцессы аморального безразличия, способные вызвать у нас только ненависть, тоже должны быть поняты в этой перспективе — в настоящее время никто не может уйти от космополитической коллективной ответственности, или по Дюркгейму «коллективного сознания», пробужденного глобальными угрозами.

Сама категория «гостеприимства», иначе говоря, дружелюбия к гостям [*Gastfreundschaft*], прямой оппозицией к которой является «негостеприимство», враждебность к гостям [*Gastfeindschaft*], не вполне внятна для того, чтобы объяснить неизбежность моральной близости людей, несмотря на географическую дистанцию. Много ли проку просто от разговоров о том, что люди сейчас все стали соседями? По-прежнему никто не знает, что из себя представляет на глубинном уровне «соседство всех со всеми» в глобализующемся мире, и кантовское понимание гостеприимства по-прежнему остается единственным убедительным объяснением (приемлемым и для всех «соседей по глобальному миру»).

Если говорить в правовых терминах, то этический принцип признания других подразумевает некий *космополитический закон глобального риска*. Сейчас речь должна идти уже не о конкретных проявлениях гостеприимства, а о долгосрочном эффекте рискованных решений, которые теперь уже касаются всех. Сначала глобальный риск может показаться само собой разумеющимся, но признание глобального риска подразумевает радикальную реконструкцию существующего национального и международного законодательства. Пока нам нужно сформулировать и ввести минимальные стандарты этого космополитического закона риска. Они включают следующие положения:

- «мы» и «они» находимся на одной и той же моральной и правовой платформе во всем, что касается стратегических рискованных решений;
- это значит, что интересы самых уязвимых членов других обществ нужно ставить выше интересов своих соотечественников, просто исходя из универсального права человека на неприкосновенность. Глобальные риски могут причинить вред, который пересекает любые национальные границы. Космополитический закон риска возможно ввести, только если рубе-

жи между моральными и политическими сообществами переопределены таким образом, что «другие», «чужестранцы» и «аутсайдеры» включены в принятие ключевых решений везде, где их существование, достоинство может быть попрано и задето.

### *Теория мирового общества рисков*

Современное состояние человека, в начале XXI в., окрашено бесчисленным числом рисков, погрузивших нас в состояние неуверенности; эти риски были вызваны торжествующей поступью модерности. Теперь существование и ориентация в мире все больше подразумевают понимание, что всякий раз можно столкнуться с катастрофическими рисками. Это мы и называем новым историческим состоянием человечества — мировым обществом рисков. Такое столкновение с рисками включает в себя неприменный конфликт с теми институциональными договоренностями (условиями), из которых и происходит угроза — это мы называем теорией институциональных противоречий. Кроме того, в этом столкновении ставится под вопрос прежняя логика взаимных конфликтов (*associated conflicts*). Одни ожидают от риска выгоды, а другим придется нести издержки этого риска — это мы называем антагонизмом на почве риска.

Космополитическая коммуникативная логика возникает в настоящее время из гуши противоречий и конфликтов. Глобальные риски способны «завербовать» (*press-gang*) любое число акторов, которые даже и знать не хотят друг друга — они преследуют различные политические цели и живут чаще всего в несоизмеримых мирах. Из этого факта и исходит наша теория рефлексивности и реального космополитизма глобальных рисков. Новая коммуникативная логика должна быть дифференцирована, в зависимости от того, о каких рисках заходит разговор, экологических, экономических или террористических. Мы должны исследовать, каким образом эти риски могут стать частью социальной теории, образовав реальную базу этой науки.

С этим напрямую связан вопрос *о политических перспективах* в условиях постоянных рисков. Если говорить о политической стороне дела, то логика глобальных рисков должна привести к созданию *космополитического политического реализма*. В соединении с нормативным и аскриптивным космополитизмом такой реализм позволяет нам рефлексивно осмысливать риски, внимать критике с разных сторон и учитывать все те противоречия, которые проявляются в жизни самого общества, сделав их научной базой социальной критики в социологии. В результате теория мирового общества риска станет *критической теорией социальной самокритики*.

### *Новый исторический характер мирового общества риска*

Основная проблема современной социологии — неверная постановка вопросов. Руководящие вопросы социальных теорий обычно завязаны на стабильность и (вос) производство порядка, а не на текущий опыт, который

и нужно схватывать в его эпохальности и прерывистости. Социальные изменения нужно теперь изучать в масштабе глобализующейся современности, как на Западе, так и в остальном мире. Критика социальных наук, в частности самой социологии, становится необходимым предварительным условием для создания социальной теории XXI в. Распавшаяся на множество специализаций, плененная абстракциями социология, помешанная на своих «методиках» и «техниках», утратила свой смысл, потому что утратила историческое измерение — она не может постичь прерывистое изменение современного общества. В результате, она не может выполнять собственных задач, не имея для этого ни средств, ни желания: понимать и ситуативно определять (*situate*) текущие трансформации объекта своего исследования в социально-исторических рамках и таким образом диагностировать эпохальные изменения в новую эпоху — *Второй модерности*. Такая неспособность в социальной истории привела к заторможенности исторического воображения социолога, которое не способно даже осознать, не то что преодолеть, свою слепоту к происходящим катастрофам и их политическому значению (хотя эта слепота и обеспечивала продуктивное развитие социологии на заре ее существования, в начале катастрофического XX в.). Вместо того чтобы заглянуть в лицо катастрофе, социология продолжает растекаться по массивам данных, которые только затемняют процессы и эмпирические показатели глубокого и закономерного расстройтва модерности. При этом перестает работать целый спектр практик, от самодеконструкции до самолюбования; и социокультурная критика, подразумевавшая раньше непренную рефлексию, неожиданно для себя остается не у дел.

Новоявленный исторический характер мирового общества риска может быть увиден только посредством детальной эмпирически-аналитической критики, вскрывающей невольную узость, усредненность и историческую незрелость социологии. Дело все в том, что изучаемые нами угрозы и ненадежности современности — это результат не ошибок модернизации, а ее успехов, а значит, и непрерывных человеческих решений, совершенствовавших науку и технологию, — все эти решения имманентны обществу и потому не могут рассматриваться обособлено от него. Все эти решения на самом деле принимались коллективно, и потому ни один индивид не может заявить, что он тут ни при чем, хотя с объективной стороны они уже давно вышли из-под контроля и не дают нам никаких гарантий: мы не знаем, к чему «все это в конце концов приведет». Историческая уникальность мирового общества риска, которое позволяет противопоставить нашу эпоху индустриальному обществу времени национальных государств не в меньшей степени, чем те отличались от ранних цивилизаций, состоит в зависимой от решений возможности контролировать вообще всю жизнь на земле (включая исторически беспрецедентную возможность саморазрушения планеты и возможность антропологической само-трансформации человеческого существа, возведенную полной расшифровкой человеческого генома <официально объявленной> летом 2000 г.). Тридцать или сорок лет

спустя о мировом обществе риска будут писать в учебниках истории, видя его движущую силу в биополитике мирового масштаба<sup>8</sup>.

Но тем не менее новизну возникающей на наших глазах общественной формации можно разглядеть, только если мы сопоставим последствия радикальной модернизации с социальными институтами, которые и сделали возможным такой радикализм, при этом учитывая и культурную базу этих институтов, и совокупность политических рисков. Тогда мы поймем, чему обязаны современные риски и современная неуверенность, и сможем обозреть культурные, социальные и политические параметры взрывоопасных рисков.

### *Теория институциональных противоречий*

Как верно отметил Пит Стридом в 2002 г.<sup>9</sup>, первый набросок теории институциональных противоречий, представленный в книге «Экологическая политика в эпоху риска» (*Ecological Politics in an Age of Risk* 2002, нем. изд: *Gegengifte*, 1988), возник как спор (включавший в себя и рецепцию, и критику) с книгой Никласа Лумана «Экологическая коммуникация» (*Ökologische Kommunikation*, 1986), вышедшей в том же году, что и мое «Общество риска». Луман выстраивает свою аргументацию вокруг простого лозунга, что то, что нельзя взять под контроль, не может быть реальностью. А так как современное общество состоит из функционально дифференцированных систем, которые могут справиться с порожденными ими самими рисками только в пределах своей специфической системной логики (экономика — в пределах регулирования цен, политика — в пределах действий большинства, право — в пределах установления вины, наука — в пределах демонстрации истины и т.д.), современное общество не способно справиться с экологическими и прочими глобальными рисками — с проблемами, которые не существовали прежде. Те, кто придает этим проблемам значение, скажем, социальные движения или отдельные эксперты, становятся действительным источником опасности, потому что «шум», который они производят, «сбивает» гладкое функционирование системы. Я даже придумал для этого ироническую формулировку: «Schweigen entgiftet!»<sup>10</sup> («Молчание обеззараживает!»).

Поэтому я и решил перевернуть этот диагноз с головы на ноги. Вместо того чтобы с умным видом растворять реальность глобальных рисков в метафизике «рациональности систем» (исторически фальсифицируя при

8. Rose N. Neurochemical Selves // *Society*. 2003. Vol. 41. №1. P. 46–59; MaySt. Rechtspolitische Nebenfolgen und Entscheidungskonflikte der Biomedizin // U. Beck, Ch. Lau (Eds.). *Entgrenzung und Entscheidung. Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung?* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. S. 193–208.

9. Strydom P. Risk, Environment, and Society: Ongoing Debates, Current Issues, Future Prospects. Philadelphia, PA: Open University Press, 2002. P. 59.

10. Beck U., Lau Ch. Second Modernity as a Research Agenda: Theoretical and Empirical Explorations in the 'Meta-Change' of Modern Society // *British Journal of Sociology*. 2005. Vol. 56. №4. P. 525–557.

этом свою собственную системную теорию), я решил, напротив, исходить из того, что современное общество и его подсистемы не способны справиться с самыми насущными проблемами, порожденными ими самими. Полное соответствие безответственности науки — это имплицитная ответственность бизнесов и единственная в своем роде ответственность политиков за легитимацию политики. Ответственность, конечно, может быть локализована, но пока что она расплывлена по уровням нескольких социальных подсистем. Глобальные угрозы, принесенные модернизацией, следует поэтому приписывать не науке, не экономике и не политике, но «сопроизводству» этих подсистем. Все эти подсистемы производят обширный лабиринт связей, сконструированный не по безответственности и не по уходу от ответственности, но через сосуществование ответственности [*Zuständigkeit*] и безнаказанности [*Unzurechenbarkeit*] — а если говорить еще точнее, через ответственность как безнаказанность, или «организованную безнаказанность».

Противоречивая природа базовых институтов современного общества, из-за которой компетенция не препятствует безнаказанности, коренится в растущей социальной дифференциации — в том факторе, в котором Луман думал найти метаразрешение всех проблем. Противоречия внутри и между институтами современного общества стали очевидны в последнее время из-за опыта катастроф, который был усилен алармизмом массмедиа. Центральное противоречие современного общества состоит в том, что преуспевающая модернность под действием собственных научных инструментов и массовой коммуникации вынуждена уделять первейшее внимание масштабным угрозам, которые она сама породила — при том, что очевидна нехватка необходимых понятий для решения или далее понимания этой проблемы, не говоря уже о выработке надлежащей стратегии. Так будет продолжаться до тех пор, пока статус институций будет абсолютизироваться и антиисторическим образом считаться постоянным.

Самокритика общества становится все более радикальной по мере того, как названные противоречия обостряются из-за учащающихся катастроф и кризисов и их восприятия в опыте и памяти современности. Новейший пример, глобальный финансовый риск, вновь показал, что самокритика изначально должна развиваться как имманентная критика институционализированных и постоянно вновь провозглашаемых обещаний безопасности, разбирая их провал в конкретном опыте катастроф. Это включает в себя неизбежную самокритику науки, выражающуюся в споре экспертов и их критиков, в связи с тем, что наука не способна восстановить уже в рамках логики предвосхищения свои былые обещания безопасности перед лицом новейшего «неведомого неведения», т. е. исчезновения способности даже понять, что происходит. Таким образом, неотрефлексированный внутренний конфликт модерности превращается в рефлексивную модернизацию в узком смысле: конфликт пробуждает и запечатлевает в уме, что «недопонимание века» проникло и в отношения между глобальными рисками и институциональными мероприятиями, из-за которых эти риски возникли, хотя институции и претендовали на контроль над ними. Уже невозможно

пренебрегать рисками как побочными эффектами. Напротив, они становятся внутренней проблемой кажущихся самозамкнутыми социальных систем. В то же самое время любая попытка распорядиться сложностью риска вновь повергает нас в абстрактные модели, которые приводят к возникновению новых неуверенностей. Это и становится базой следующих институционализированных противоречий. Риск и незнание вызывают к обеспечению безопасности, а ведут к новым опасностям и неуверенностям, вынуждая тыкаться вслепую в тумане ненадежности и неведения. Более того, неразрешимые проблемы, которые при этом требуется решить, возрастают по мере давления, заставляющего принимать решения<sup>11</sup>.

Угрозы — это не вещи. Ведь конфликты и борьба вокруг определений возникает в сложном взаимодействии конструктивизма и институционализма. А это происходит вовсе не в институциональном вакууме. Ключевой компонент этой социальной конструкции, ее «годности» и «ресурсов истины», обеспечивающий ее влияние на коллектив, — это сами связи, которые подразумевают определение. Таким образом, коммуникативная логика риска пронизывает общество во всех его институциях и жизненных мирах. В той мере, в какой всякий новый катастрофический опыт пробуждает память о предшествующих катастрофах, все отношения определяющей силы становятся видимы публике, а значит, превращаются в политический фактор. Это сразу ставит перед нами вопрос о новой этике и системе ответственности, имеющей в виду демократизацию отношений влиятельной власти в мировом обществе риска — иначе говоря, это вопрос о новой модерности, *модерности ответственности*.

Конечно, сырой факт онтологической неуверенности всякий раз имеет конечного адресата: реципиент любого риска, засевающего в мировом обществе риска, — всегда индивид. Что бы ни провоцировало риск, который уже невозможно просчитать, что бы ни вызывало институциональный кризис на уровне режима правления и рынков, все это смещает ответственность за принятие конечных решений на индивидов. Индивиды остаются наедине со своими собственными средствами (devices), со своим частичным и тенденциозным знанием, неспособные принять решения в силу собственной многоуровневой неуверенности. Без сомнения, это важнейший источник правого радикализма и фундаментализма в эпоху Второй модерности, и сдержать эти процессы непросто.

### *Антагонизм риска*

Когда задают вопрос о социальном неравенстве в мировом обществе риска, то проблема не в том, как размещены риски, но в том, чем они действительно являются, или говоря точнее, от чего они происходят — что это, воз-

11. The Risk Society and Beyond: Critical Issues For Social Theroy / B. Adam, U. Beck, J. van Loon (Eds.). London: Sage Publications, Ltd., 2000; Beck, Lau. Entgrenzung und Entscheidung. 2004.

возможности, с которыми нужно считаться, или угрозы, вызванные другими. И главный вопрос здесь, у кого есть власть предотвратить опасность рисков, направленную на других. Это — структурный конфликт, встроенный в саму коммуникативную логику риска. Никакой онтологии риска не существует: риски не существуют независимо, наподобие вещей. Риски — это всегда рискованные конфликты, подразумевающие множество различий между теми, кто принимает решения и может в конечном счете избежать риска, и невольными потребителями опасностей, которые никак не могут повлиять на решения и над которыми и зависит опасность как «невольный и непрозрачный побочный эффект». Риски систематически вторгаются в антагонистические и несоизмеримые миры уже готовых рисков: ведь все, кто вызывает риск или определяет его, это не те же самые, на кого риск оказался направлен.

Это особенно отчетливо выступает, когда появляется риск новой войны: агрессивная нация пытается поддерживать иллюзию мира для самой себя, забывая о том, какое насилие сопровождает любую войну — она пытается приписать все страхи, связанные с войной, противоположной стороне. «Побочный ущерб» — вот скупое выражение, единственный смысл которого — оставить жертв анонимными. Выражение одновременно приоткрывает и скрывает природу убийства других, изображая это как «невольный побочный эффект»; а в действительности производит разделение мира на две несовместимых реальности: на мирное существование для тех, кто начал вести войну, и на опасность разрушения и смерти для тех, для кого война стала повседневным опытом.

Понятие врага, принятое в войнах старого типа, войнах между государствами, слишком недифференцировано, чтобы вместить в себя такой перенос риска насилия в войне с тех, кто принимает решение, на тех, кто этим решением затронут. Во время Иракской войны, скажем, правительство США вовсе не собиралось развязывать войну против иракского народа. Напротив, заявленной целью войны было освобождение иракского народа от угнетавшей его диктатуры Саддама Хусейна, располагавшего большим аппаратом власти и военной мощью. Вероятно, США надеялись на внутреннюю революцию после начала боевых действий и успешного достижения цели военного вторжения — свержения режима Саддама Хусейна после военной операции на живом теле иракского народа. Но такая ограниченная цель (если мы предполагаем именно ее, выбирая при этом из множества альтернативных попыток администрации Буша обосновать начатую ей Иракскую войну) ставит такую форму перераспределения рисков в гущу серьезных противоречий. В частности, безликий термин «побочный ущерб» скрывает за собой жизни погибших граждан Ирака, которых и предполагалось освободить — это принудительная плата за войну: чужими жизнями. Такой факт сразу же разрушает основание легитимации, не говоря уже о том, что трудно придумать более поучительный пример институционализированных противоречий государственного управления риском войны. Война породила как раз то, что должна была предотвратить, — разгул террористического насилия — Ирак превратился в плацдарм и центр вербовки глобального терроризма.

Такой антагонизм рисков принимает различные формы. Интересно то, что он одновременно и обостряется, и сглаживается в условиях, которые чаще всего безоглядно описывают в терминах «глобализации риска». Он сглаживается, потому что говорить о равенстве и уместности на национальном уровне становится уже невозможно: на этом уровне действует только несовместимость интересов и невнимание к ним, которое и институционализируется национальными границами. Несоизмеримость, эта обратная сторона внутренней ориентации национальной политики, усиливает комплексные отношения между странами, производящими риск, и странами, испытывающими этот риск на себе; и в любом случае выпутаться из этого конгломерата отношений нелегко. В то же самое время потенциал конфликта обостряется, потому что смутность и неопределенность рисков открывает широкие двери всем культурным предубеждениям и неврозам. Все более откровенные глобальные риски показывают, сколь ненадежны научные методы их учета и сколь впечатляющим становится само восприятие риска. Различие между реальными рисками и ожиданием риска тогда расплывается<sup>12</sup>. А это значит, что необходимо рассмотреть, кто убежден в существовании постоянного риска и почему понятие риска начинает господствовать *над* всеми изощренно разработанными экспертами вероятностными сценариями.

Основные свойства конфликта эпохи холодной войны были чисто политическими, и вся взрывоопасность того положения происходила из проблем национальной и международной безопасности. Геополитические линии конфликта в мировом обществе риска уже пересекают различные культуры восприятия риска. В настоящее время мы стали свидетелями вторжения культуры в политику: наилучший пример тут — это та грозная реальность, которую теперь видят за изменением климата и появлением международного терроризма, особенно в Европе и в США. Мы не должны недооценивать или игнорировать важнейший момент такой ситуации: возможность внезапной перемены самого *восприятия*, то, что мы называем «эффектом перевертывания». До 11 сентября 2001 г. по обе стороны Атлантики конфликтовали восприятия и оценки климатического риска, а о террористическом риске никто не задумывался. Только после событий 11 сентября Северная Америка (если можно употреблять этот термин без оговорок) отказалась от своего общего неверия в риски и стала внимать предсказаниям о «коллапсе цивилизации», исходившим по большей части из Европы. Америка отреклась от своей роли поставщика оптимизма и стала ввозить пессимизм, правда, только в специфическом секторе — международного терроризма. Но нужно говорить не просто о серьезном изменении культурного восприятия и общего определения риска и угрозы в Европе и в Америке — европейцы и американцы, пережившие такой сдвиг восприятия, стали каждые жить в новом для себя мире. То же самое случилось во время финансовой катастрофы (*financial meltdown*): убежденные неолибералы в США мгновенно превратились в госу-

12. Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers. Berkeley, CA: University of California Press, 1982.

дарственных социалистов для богатых. Но конфликтный нарратив мирового общества риска односторонен: скажем, изменение климата обостряет существующее неравенство между бедным и богатым центром и периферией — но одновременно разрушает это неравенство: чем больше возрастает планетарная угроза, тем меньше остается возможностей даже для самых богатых и могущественных стран ее избежать. Таким образом, изменение климата — фактор и мирового разлада, и всемирной демократизации.

Итак, глобальный характер мирового общества риска находит свое выражение в противоречивой динамике развития: возрастающее единство всегда соседствует с учащающейся дезинтеграцией. Несомненное в политическом плане и сильнейшее «сообщество судьбоносного риска» (risk community of fate) расколото вопросом: какое определение риска следует выбрать и с какой стороны следует подойти к угрозе. Решающей важности здесь, скажем, становится проблема, в какой мере риск терроризма пронизывает теперь международную политику и к чему более склонно новое политическое мировосприятие: к превентивно-военному или к превентивно-политическому взгляду на дела в мире. Дрейф в сторону срочных военных решений скажется в разных регионах по-разному: Европу он превратит в аутсайдера, который культивирует и героически преодолевает никчемную роскошь собственных проблем. Новые векторы конфликта, и маячащие при этом альтернативы, возникают в пробелах между различными конструкциями, измерениями и потенциальными источниками глобальных рисков.

В современном обществе мы становимся свидетелями глубинной трансформации когнитивной организации социальной жизни — и такое соревнование и конфликт обретают предельную выразительность в самом дискурсе риска. А именно — он предстает новой формой классового конфликта, причем приобретшим уже гендерное измерение... Культурно заданные когнитивные структуры направляют теперь науку, технологию, промышленность, капитализм и само государство, что находит свою кульминацию в обществе экспериментов, но при этом они встречают неожиданный отпор. Это отпор в публичной сфере, мобилизованной публики и новых социальных движений; его организуют граждане, пользуясь множеством ресурсов, по направлению к демократии участия или принятия решений (participatory or deliberative democracy) и космополитической демократической форме правления... Коллективная ответственность как «со-ответственность» вполне отвечает такому набору когнитивных структур. В этом смысле ответственность, как и предполагает конструктивистский подход, вовсе не означает совершенного запрета потенциально зловредных исследований и экспериментов, но только их разумное и сбалансированное распределение, основанное на новых когнитивных структурах, появляющихся на новейшем эволюционном витке<sup>13</sup>.

13. Strydom P. Risk, Environment and Society: Ongoing Debates, Current Issues and Future Prospects. Philadelphia, PA: Open University Press, 2002. 152 f.

Йост ван Лун поставил ключевой вопрос: является ли умножение рисков тушиковым или же это побег от негативной диалектики риска — выворачивания риска наизнанку как энтропии его амбивалентности<sup>14</sup>.

*Теория рефлексивности и реальный космополитизм  
глобальных рисков*

Повторим еще раз ход нашей аргументации. Специфическая онтология риска нашла свое выражение в преодолении различий между реальностью и репрезентацией — а это ключевой фактор в восприятии *становящегося реальным*. Возрастающее число данных рисков *обесценивает* операционную логику таких институтов, как нация-государство и индустриальное общество, — ведь теперь эти предвосхищаемые в своем нарастании риски не могут быть ограничены какими-то специальными географическими или временными параметрами, но производят внезапные эффекты глобального масштаба. Что тогда приходится иметь в виду под «рефлексивностью» риска?

- *Космополитическое событие (прежде всего событие 11 сентября 2001 г.):* массмедиа продуцируют спонтанное развертывание (conspicence) катастрофического события (или его предвосхищения) в режиме реального времени в глобальном масштабе при активном присутствии и участии всего человечества. Это травматический шоковый опыт, триллер реальной жизни в любой квартире, где стоит телевизор. Стены национального безразличия рушатся от всеобщего страха, любые самые большие географические дистанции преодолеваются, и создается некоторая космополитическая солидарность (во всяком случае, на какой-то момент времени).
- *Усиленная коммуникация через границы:* если говорить о *горизонте* глобальных рисков, то каждый человек живет в непосредственной (и универсальной!) близости от любого другого человека. Космополитизм в этом новом значении — это чувство единства, усиленное общей угрозой: теперь космополитизм — это уже не *выбор*, а *состояние*. Мы предполагаем, что все люди объединены сегодня одним — мечтой о большей осмысленности происходящего в мире. Такая негативная солидарность зиждется на страхе глобального разрушения, и она еще раз демонстрирует коммуникативную логику мирового общества риска. Я уже говорил ранее, что производство и распределение рисков в современном обществе, с его огромным политическим потенциалом, невозможно вывести из возникающих попутно проблем. Другими словами — системная закрытость уже не может быть опцией: мы все повязаны всеобщей паутиной производства и назревания риска.

Можно сказать, что рефлексивность тогда приводит к разладу автопойесиса, но при этом сгоняет потоки коммуникации в гибридные систе-

14. van Loon J. Risk and Technological Culture: Towards a Sociology of Virulence. London: Routledge, 2002. P. 41.

мы. Закрытости, которые указываются экспертизой, законодательством и моральной паникой, не вызывают никакого доверия в самих породивших их системах. Больше невозможно при всяком удобном случае ссылаться на технику. Новое изобретение политики... необходимо требует возвращения аутопойесиса, который будет представлять собой раскрытие вовне всех внутрисистемных закрытостей<sup>15</sup>.

- Как раз именно такое действие производит рефлексивность риска: она разрушает идентичность субъекта и идентичность самой рефлексии; это обратная сторона форсированной коммуникации, по-прежнему привязанной к различным медиа, технологиям, акциям, значениям, сетям, «актантам», ценностям (Бруно Латур).
- *Политический вызов* общества риска кроется в системах, способных воздействовать друг на друга, при этом не переходя друг в друга. Можно сказать, что политика, допускающая сообщение различной информации, возможна, только если она не сводит эту информацию к логике только одной из систем. Луман со своим политическим квиетизмом утверждает, что это невозможно. Но Бек и Хабермас говорят, что альтернативы нет<sup>16</sup>.
- Многие отвергнут это, сочтя за грезы наяву (wishful thinking). Но у нас нет пока других средств описать поворот к «космополитической реальной политике», контуры которой уже вполне возможно различить в наши дни.
- И наконец, рациональность риска развивает экзистенциальную «логику» шока, страдания и скорби, на глобальном уровне находящуюся в оппозиции к «инструментальной рациональности», которую Макс Вебер сделал центральной мифологемой своей социологии и которую критиковали как Хоркхаймер и Адорно, так и сравнительно недавно Юрген Хабермас (хотя исходя уже из других предпосылок). Можно сказать, что рефлексия над риском — или, если говорить о более общем подходе, рефлексивная модернизация — это амбивалентная, но реалистическая критика разума, низведшего себя на косный уровень инструмента. В ключевых областях социальной рационализации может быть эмпирически и теоретически продемонстрировано, как радикализация модерности приводит к самопротиворечивости, самоделегитимации и самотрансформации «инструментальной рациональности». Все только что названное мотивируется исключительно максимизацией эффективности и результативности (effectiveness and efficiency).

Эмоции, напротив, представляют собой некое неизбывное сосредоточение на бытии, привязанность к бытию собственному или чужому, что представляет собой один из центральных и переходящих все границы опытов мирового общества риска (Ritter, 2004). Глобальный опыт риска выводит на свет глубинное экзистенциально-травматическое чувство сострадания (например, жертвам цунами), но и бездну онтологической неуверенности

15. Ibid. P. 40, 43.

16. Ibid. P. 43.

(когда видно, что здесь ничем не может помочь ни наука, ни законодательство, ни правоохранительные органы, ни военные подразделения) и ненависти (например, к террористам-камикадзе). Тогда как инструментальная рациональность, как мы только что видели, предполагает некоторую степень рефлексии — все начала и концы должны быть соотнесены и хотя бы как-то уравновешены друг другом. Рефлексивность глобальных рисков имеет полностью противоположный характер: она вбирает в себя одновременно вуайеризм глобальных массмедиа и антропологический шок, самоотверженную заинтересованность и страх, а также панический ужас и его инструментализацию целым спектром политических игроков.

*Дивергентная логика глобальных рисков:  
к различию между экономическими, экологическими  
и террористическими рисками*

В коммуникативной логике глобальных рисков необходимо различать по меньшей мере три оси конфликта: экологические конфликты риска, которые внезапно становятся производящим фактором глобальной динамики; глобальные финансовые риски, которые всегда прежде всего сказываются на индивидуальном и национальном уровне; угроза со стороны теоретических сетей, которые и получают власть, и лишаются ее по инициативе государств. Если мы говорим об экологических рисках, то исследуем угрозу окружающей среде, то есть говорим о разрушении природного слоя под влиянием человека, как, например, в случае гибели озонового слоя и парникового эффекта, вину за что нужно без обиняков возлагать на западный индустриальный мир, воздействие которого на природу давно приобрело глобальные масштабы. Отдельно мы должны сказать о разрушении окружающей среды, причиненном по бедности, например, истреблении лесов; но такой вид истребления природной среды обитания ограничен отдельными регионами и поэтому вызывает меньшую тревогу. Затем нужно сказать о глобальных экономических рисках, к которым податливы глобализованные валютные и финансовые рынки, в последнее время привлечшие к себе повышенное общественное внимание<sup>17</sup>. Риски глобального рынка — это также новая форма «организованной безответственности». Финансовые потоки, ускорившиеся благодаря информационной революции, сами определяют, кому победить и кому проиграть. В этом секторе структурно доминирует соревнование, и поэтому ни один игрок не может быть достаточно силен, чтобы изменить направление этих потоков. Никто не может поставить под контроль риски глобального рынка. Мирового правительства в ближайшее время не предвидится, а на национальных рынках с рисками

17. *Li Puma, Lee*. Financial Derivatives and the Globalization of Risk. Durham: Public Planet Books, 2004. P. 141–160; *Holzer B., Millo Yu.* From Risks to Second-Order Dangers in Financial Markets: Unintended Consequences of Risk Management Systems // *New Political Economy*. 2005. Vol. 10. № 2. P. 223–245.

глобального рынка не совладать. Но при этом все мы знаем, что ни один национальный рынок не может уже отгородиться от глобализованных рынков.

Неолиберальная экономическая политика ставит нас перед важнейшей проблемой. Только несколько из лидирующих интеллектуалов поняли, что мир неуклонно становится демократическим. Избиратели все более склонны голосовать против тех решений, которые налагают на них чувствительные ограничения. Они не способны смотреть в отдаленное будущее, которое, по «кейнсианским» предсказаниям многих нынешних экономистов, наступит, когда мы все умрем, и ждать улучшения своей ситуации. «Азиатский кризис», «российский кризис», «аргентинский кризис» и, наконец, разразившийся глобальный кризис с центром в США показывают, что средний класс защищен от финансовых кризисов менее всего. Волны банкротств и безработицы захлестывают даже самые благополучные регионы. Западные инвесторы и комментаторы рассматривают «финансовые угрозы» исключительно под тем углом зрения, что они угрожают финансовым рынкам. Однако глобальные финансовые риски, как и глобальные экологические кризисы, не могут быть сведены к экономическим подсистемам: они перерастают в социальные потрясения, несущие с собой политическую угрозу. Так, в случае «азиатского кризиса» такая цепная реакция привела к нестабильности в некоторых государствах и одновременно вызвала взрыв насилия против меньшинств, которым пришлось стать козлами отпущения.

В настоящее время стало реальной возможностью то, чего нельзя было себе вообразить даже несколько лет назад: глобализованный свободный рынок, еще недавно казавшийся нерушимым, теперь может потерпеть крах вместе с сопровождающей его идеологией глобализации. Мы видим, как по всему миру, и не только в Латинской Америке, но и в арабских странах, и в Европе, политики принимают меры против глобализации. Протекционизм переживает новое рождение; некоторые политики призывают к созданию новых транснациональных институтов, которые будут контролировать глобальные финансовые потоки, тогда как другие политики выступают за систему транснационального страхования или за укрепление международных организаций и усиление международных договоренностей. В результате эра идеологии свободного рынка на наших глазах отходит в прошлое, тогда как движется на нас прямо противоположное — политизация экономики глобального рынка. Даже защитники глобального свободного рынка все чаще открыто высказывают подозрение, что после крушения коммунистической системы остался только один оппонент свободного рынка — нерегулируемый (unbridled) свободный рынок, который сбрасывает с себя ответственность за демократию и общество и оперирует исключительно максимальной краткосрочной «максимизацией выгоды».

Существуют поразительные параллели между Чернобыльской катастрофой и азиатским финансовым кризисом. Традиционные методы сдерживания и контроля перестают работать и не могут быть применены перед

лицом глобальных рисков. Невозможно компенсировать финансовые потери миллионам безработных и бедных; и нет возможности застраховаться от грядущего воздействия глобальной рецессии. Вместе с тем уже можно почувствовать и социально-политическую взрывоопасность рисков глобального рынка. Правительства уже зашатались над пропастью, а призрак гражданской войны широко высветился над горизонтом. Как только риски начинают касаться всего общества, во весь голос начинает звучать вопрос о том, кто за них отвечает. Такая социально-политическая динамика приводит к инверсии нелиберальной политики: происходит не экономизация политики, о которой многие годы говорили с таким оптимизмом, но политизация экономики.

Необходимо серьезно подумать об образовании Совета экономической безопасности при ООН... Существует немало вопросов, включая управление финансовыми рынками и предотвращение экологических рисков, которые могут быть решены только коллективным действием, в которое вовлечено множество стран и групп. Даже самая либерализованная национальная экономика не сможет теперь работать без макроэкономической координации; и неважно, насколько «различной» мы предполагаем мировую экономику<sup>18</sup>.

Конечно, экономические кризисы столь же старые, сколь и сами рынки. Все глобальные экономические кризисы, начиная с великого кризиса 1929 г. и кончая недавним, показали всем людям, что финансовый крах оказывает катастрофическое влияние на политику. Бреттон-Вудская система и другие институты, созданные после Второй мировой войны, были задуманы как глобальный политический ответ на глобальный экономический риск, и само их функционирование стало ключевым фактором в развитии европейских государств как государств всеобщего благоденствия. Но начиная с 1970-х гг. эти институты были по большей части демонтированы, и на смену им пришли срочные решения применительно к нуждам каждого момента. Поэтому мы столкнулись с удивительной ситуацией: никогда еще рынки не были столь либеральными и столь глобальными, но при этом могущество глобальных институтов, способных осуществлять надзор за возникающими последствиями, неуклонно ослабляется. При таком раскладе мы не можем исключать мирового финансового краха, столь же катастрофического, как обвал 1929 г.

В отличие от экологических и технологических рисков, при которых физические последствия давят извне на сложившуюся социальную обстановку, финансовые риски затрагивают социальную структуру самым непосредственным образом, поражая экономику, а точнее, гарантию платежеспособности, без которой экономика не заработает. Это означает, что влияние финансовых рисков теперь опосредовано другими социальными

18. *Giddens A. The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press: 1998. P. 176. [Ср.: Гидденс Э. Навстречу глобальному веку [глава из указанной кн.] / Пер. С. П. Баньковской // Отечественные записки. 2002. № 6.]*

структурами в гораздо большей степени, чем влияние глобальных экологических рисков. А это означает, что финансовые риски могут быть гораздо быстрее «индивидуализированы» и «национализированы» и что они задают рост больших различий в восприятии риска. И наконец, глобальные финансовые риски, не в последнюю очередь в их всемирно-масштабном статистическом восприятии, приписываются отдельным странам или регионам в качестве национальных рисков. Конечно, это просто обусловлено тем, что риски при большей экономической взаимозависимости менее рискованны. Так как все подсистемы современного общества поддерживают другие подсистемы, провал финансовой системы окажется тотально катастрофическим. Ни одна другая система из распределяющих функции не играет такой важной роли в современном мире, как экономика. Итак, мировая экономика, без сомнения, — важнейший источник производства неуверенности и ненадежности в мировом обществе риска.

Совсем другое дело — угроза, представляемая глобальными террористическими сетями. Как мы только что видели, экологический и экономический кризисы должны быть поняты как побочные эффекты радикальной модернизации. Тогда как деятельность террористов, напротив, представляет собой «намеренную катастрофу». А если говорить точнее, террористы привержены принципу намеренного запуска непреднамеренных побочных эффектов. Здесь принцип сознательного эксплуатирования явной уязвимости современного гражданского общества окончательно вытеснил прежний принцип вероятности/случайности. Понятие случайности, основанное на подсчете вероятности каждого случая ущерба, более неприменимо. Террористы выбирают в качестве цели своей деятельности так называемые резидентные риски, и, задействуя гражданское сознание в очень сложном и взаимозависимом мире, они глобализуют «замеренное насилие» (*felt violence*), которое тогда уже парализует все современное общество и буквально заставляет его заледенеть от страха. Соответственно, риск террора приводит к предельной экспансии принципа (*domain*) «товаров двойного пользования», обслуживающих одновременно гражданские и военные цели<sup>19</sup>. Международный терроризм отличается от террора внутри страны тем, что он никогда не преследует национальных целей и не зависит ни в первую очередь, ни исключительно от национальных акторов внутри наций-государств. «Международный» терроризм подразумевает интернациональные террористические сети, которые могут атаковать «Запад» и «современное общество» где угодно. Поразительно то, что все глобальное восприятие террористических атак в конечном счете изготовлено в невольном взаимодействии с могуществом западных массмедиа, западной политики и западной военной силы. А если свести все к одной точке разговора, то вера в глобальный терроризм протекает из невольного самозапугивания современного западного общества.

При всех различиях экологический, экономический и террористический глобальные риски имеют две общих ключевых черты. Первое: все они навя-

19. *Bauer M. Reflexive Modernisierung und Terrorismus. Unpublished MS, München, 2006.*

зывают или предписывают политику активных контрмер, которые ставят под сомнение основу существующих форм и альянсов международной политики, настаивая на необходимости соотнести новые определения и новые политические акции, чтобы в конечном счете создать новую политическую философию. Это означает, что все, что прежде обозначалось как «национальное» и «международное», и все, что достигнуто в ходе соотнесения и демаркации этих понятий, теперь потерпело крушение и теперь вновь должно быть обретено, уже под лозунгом предотвращения рисков в превышающей любую власть игре глобальной и национальной политики безопасности<sup>20</sup>. Среди прочего здесь возникает вопрос: способна ли Европа с ее пацифистским воззрением на мир (включающим в себя и отношение к экологическим рискам) опознать, что исламские террористы действуют не против Америки (как думают многие европейцы), но против Запада вообще, против Европы и против космополитического мира? Не получится ли так, что возникнет тайная коалиция антиамериканских исламских террористов и европейского антиамериканизма по принципу «враг моего врага — мой друг»? Или все же Европа будет стоять бок о бок с Америкой, понимая, что исламский террористический фундаментализм ненавидит и стремится разрушить все, что защищает Европа: внерелигиозную свободу мысли, отсутствие пут традиций, непредвзятость суждений и уважение к людям, для которых неуверенность во всем — часть *человеческого состояния*?

Другое общее между экологическим, экономическим и террористическим рисками — они не могут быть списаны на влияние среды и представлены как внешние обстоятельства: их следует понимать как следствие цивилизации, как неуверенность, порожденную ей самой. Но все эти риски цивилизации могут стимулировать более сбалансированную надежную глобальную нормативность, создать публичное пространство и в конце концов космополитический взгляд на вещи.

## **2. Созданное «науками о реальности» [Wirklichkeitswissenschaftliche] основание космополитической социальной теории с критическим намерением**

Социальная теория, из чего бы она ни исходила, должна эксплицитно демонстрировать свое эмпирическое основание, если она не хочет остаться исторически и эмпирически бессодержательной и недоступной даже для опровержения. Раз социальная теория более не может быть наукой о реальном, забывшем о собственном историческом происхождении и демонстративно отрешившемся от любой возможности историко-эмпирической фальсификации (а такая теория хуже, чем ложная, потому что ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть), то ей вновь предстоит стать чуткой

20. Beck U., Lau Ch. Second Modernity as a Research Agenda: Theoretical and Empirical Explorations in the «Meta-Change» of Modern Society // British Journal of Sociology. 2005. Vol. 56. №4. P. 525–557.

к отдельным событиям нормативно исторической «наукой о реальности» (*Wirklichkeitswissenschaft*, по Максу Веберу), вдохновляющейся духом интеллектуального пионерства социологической классики — только так она может себя оправдать в настоящем. Сам учитываемый нами переход к мировому обществу риска «основывается на реальности: конечно, он социально сконструирован, но он представляет собой реальную коллективную результирующую бесчисленных социальных взаимодействий — он не более „нереален“ или «только-желателен», чем тела погибших в Хиросиме в 1945 г.»<sup>21</sup>. Итак, основание обновленной социальной историографии коренится в *социальной фактичности глобальных рисков*.

Чтобы постичь это «метаизменение» (т.е. изменение всей системы референций социального выбора), необходимо выполнить два условия. Во-первых, следует разработать «феноменологию жизненного мира», направленную на рассмотрение мирового общества риска. А для этого необходимо в точности эмпирически фиксировать любые перемены в человеческой жизни под влиянием роста глобальных рисков. А это значит, что нам предстоит развить *описательную теорию*: новые категории и методы, которые позволят нам заметить и описать, как практический человеческий опыт отображается в условиях глобализованного мира в опознаваемо «космополитических» социальных формах (т.е. тех формах, которые сглаживают существующие базовые различия и рубежи между нациями), равно как и проявления того же самого опыта в конструировании отдельными людьми, группами и населенными (populations) собственными образами, который потом находит выражение и на деле.

Во-вторых, нужно будет создать *объяснительную теорию* мирового общества риска. Она должна рассматривать институциональные условия, следствия, противоречия и окончательную динамику (resulting dynamic) новой эпохи, определять рабочий смысл новых приобретений опыта и освещать для нас взаимосвязь между каждым историческим изменением и опытом и практикой жизненного мира. Эдмунд Гуссерль описывал оба эти требования в слишком общем виде. Он говорил, что «тотальное феноменологическое отношение и принадлежащее ему эпохэ назначены по сути своей произвести в первую очередь полную трансформацию личности, которая поначалу будет сопоставима с религиозным обращением»<sup>22</sup>. Это основа теории мирового общества риска, и наука помещает ее среди фактов, по которым можно проследить, как именно глобальные риски пронизывают и революционизируют жизненные миры повседневности: это действительно напоминает «религиозное обращение, которое неверующие встречают в штывки».

Наилучший пример здесь, без сомнения, это изменение климата. Именно здесь глобализация риска действительно изменила рамки человеческого

21. Albrow M. The Global Age: State and Society Beyond Modernity. Cambridge: Polity Press: 1996. P. 106.

22. Husserl Ed. Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Evanston: Northwestern University Press, 1970. P. 137. [Рус. пер.: СПб., 2004]

опыта и социального действия (хотя, по мнению многих, еще недостаточно экстенсивно). Всемирная «задействованность» побочных эффектов триумфальной индустриализации содействует глобальному сознанию человечества и позволяет концептуализировать глобальные риски. *Угроза всей планете* становится моментом референции «человеческого действия», и глобальный характер рисков неизбежно окрашивает и мысль, и действия. Скажем даже радикальнее — должный ответ на изменение климата сделает невозможное возможным: человечество осознает себя новым единым политическим деятелем, который сдерживает порывы индустриализации и успешно дирижирует трансформациями стилей жизни — это осознание себя в политике подобно религиозному обращению. Конечно, и «неверующих» тоже при этом будет немало. Итак, динамика мирового общества риска производит сброс лавины актуальных и потенциальных изменений жизненного мира, которые пришли в движение, когда риск перестал быть ограниченной проблемой индивидов и стал глобальным феноменом долгосрочной политической перспективы<sup>23</sup>. Как я уже доказывал, контуры мирового общества риска в своей сути обозначаются вне поля видения «непрозрачных и нежелательных побочных эффектов». Но это означает, что социальные факты уже нельзя рассматривать с прежней прямоотой. Их нужно изъять из прежних линейных теорий модернизации, специфика которых состояла из сокрытия рисков и производимых ими многочисленных побочных эффектов. Вот почему нам неизбежно предстоит установить специфическую (при этом методологически обоснованную) связь между описательной теорией и опытом, дабы разработать феноменологию глобальных рисков. Только в таком сочетании возможно эмпирически реконструировать, каким образом новый практический опыт трансформирует наше понимание старых концептов и форматирует развитие новых. В основу такого сочетания ложится «универсализм контекстов» (*contextual universalism*)<sup>24</sup>, который требует скептически относиться к возможности какого-либо «открытия вечных истин» в человеческих, социальных и естественных процессах. В то же самое время он настаивает на необходимости раскрытия, познания и обозначения участвующих контекст универсалий нашего повседневного опыта.

Это все приводит к очередному соперничеству интерпретаций. Теории линейной модернизации и рационализации конфликтуют с теориями мирового общества риска, причем и те, и другие теории одинаково концентрируются на «феноменологии жизненного мира» глобальных рисков. Если

23. Эмпирические исследования Межлабораторного исследовательского центра рефлексивной модернизации в Мюнхене, где и велась работа над широким тематическим спектром подобных вопросов с 1999 г., по исследовательским проектам в сотрудничестве с несколькими университетами позволили создать описательную теорию Второй модерности и показать, что указанные феномены метаизменений относятся к периоду между 1960 и 1990 г. Для этого периода и разработана систематически эмпирическая феноменология рефлексивной модернизации (другое дело, что она не занимается примерами опыта глобальных рисков внутри жизненного мира) (*Beck, Lau. Second Modernity as a Research Agenda. 2005*).

24. *Beck U. What is Globalization?* Cambridge: Polity Press, 2000. P. 81–86.

смотреть реалистично, соперничающие подходы интерпретации могут привести к своего рода «патовой ситуации с объяснением». Даже там, где подтвержден и доказан водораздел между эрами, все равно возникают перемычки и гибридные формы старых и новых феноменов, те самые «и то — и то», в которых все соперничающие социальные теории могут найти подтверждение своим предположениям. Конечно, социологии структурно присущ консерватизм, который превращает наступившую новую эпоху в придаток прошлой эпохи и одновременно опрокидывает в будущее свойства старого порядка. Такую процедуру социологов нельзя назвать бесплодной — ведь и социальные структуры, и институции первой модерности потерпели полное крушение как целое на вполне определенном историческом стыке. Если говорить о методологии, то здесь нам пригодится исследованная Максом Вебером «двойная бухгалтерия». Точно так же, как двойная бухгалтерия сыграла важнейшую роль в развитии капитализма, так же она понадобится для анализа развития мирового общества риска. Некоторые решающие моменты, связанные с тем, что Томас Кун в 1962 г. назвал «изменением парадигмы», впервые делают *новизну социальных фактов* подвластной описанию и изучению. Расследование эмпирических фактов мирового общества риска предполагает не только наличие соответствующей теории, но и *практические изменения* социальной и методологической организации социальных наук. Прежде всего, в том нельзя сомневаться, необходимо преодолеть «методологический национализм». Если мы определяем «культуру» или «общество» как развитие универсально разделяемых смыслов на основе практического опыта коллектива, то следует сказать, что мировое общество риска порывает с понятием отдельных и замкнутых культур и дает нам практический опыт преодоления культурных различий в повседневной жизни. В этом смысле «мировое общество риска» угрожает традиционному пониманию культуры, сообщества и общества. Культурные рубежи и оппозиции рушатся под все большим давлением глобального опыта угроз, и становится очевидно, что присущая им несоизмеримость вся зиждется на решениях власти, направленных на сохранение национальных границ. Точно так же становится очевидно, что такие формы социальной организации, как нация-государство, отделяющая себя стеной от всего остального мира, роковым образом мешают взаимопониманию. Другие культуры, религии, нации не могут быть поняты на основе универсальных классификаций и подходов, которые социальные науки в свое время заимствовали из естественных наук. И нормативно, и эмпирически совершенно необходима *космополитическая герменевтика*, чтобы понимать динамику конфликтов в отношениях народов и культур в мировом обществе риска.

Только «сумма феноменологии» глобализующихся изнутри жизненных миров, основанная на соединении теории и описания, будет отвечать «критериям исторической фальсифицируемости». Такая новая социальная феноменология с ее «критериями фальсифицируемости» возникла благодаря эпохальному сдвигу <в истории человечества>, и только она может стать отправной точкой и руководством для новаций в социальной тео-

рии<sup>25</sup>. В период раннего Нового времени таким критерием фальсифицируемости стал крах трансцендентно обоснованного социального порядка, в начале XIX в. (индустриальной модерности) такими критериями стали уже лидирующий опыт внутренней динамики и наращивания мощностей посредством решений людей (развивающаяся рыночная экономика капитализма) и знание политической взрывоопасности совокупного классового конфликта; позднее таким критерием стал интегративный эффект смыкания нации-общества и нации-государства, открывший широкую дорогу суверенитету, демократии и государству всеобщего благоденствия (это был национальный ответ на классовую борьбу, которую Маркс трактовал как интернациональную). Именно с этими критериями исторической фальсифицируемости работали классики социологии, ища ответы на свои вопросы в ходе теоретических и эмпирических исследований.

Уже в 1980-е гг. намечился (в таких явлениях, как «экологический кризис» и «индивидуализация») и в начале XIX в. заявил о себе новый критерий — неуловимые неконтролируемые неуверенности, непрозрачности и риски, которые испытываются и находят выражение в самых значимых политических дебатах, спорах и конфликтах, каковые уже на глобальном уровне осуществляются социальными движениями, учеными, экспертами, политиками, государствами и не в последнюю очередь террористами. В ходе всего этого, как я уже говорил, выразилось новое эпохальное качество этой *планетарной неопределенности*, и поэтому важнее всего сейчас напрячь все силы, чтобы преодолеть создавшуюся ситуацию. Главное свойство современной повседневной жизни в большинстве сфер — это не конкретный опыт неконтролируемости ситуации, но прямая потеря уверенности и доверия, что разлагивает непреложный идеал рациональности и контроля — об этом говорит опыт слишком многих людей.

Наше понятие «практического опыта», близкое понятию «габитуса», введенному Пьером Бурдьё в 1984 г., должно дать ответ на вопрос, как именно социологически концептуализировать доконцептуальное и неидеациональное основание нашего дискурса<sup>26</sup>. Такая концептуализация создаст внетеоретическую и внесоциологическую отправную точку эмпирической социальной теории мирового общества риска: на макроуровне и на микроуровне, в повседневной семейной жизни и в глобальной политике — везде, где люди сейчас в поисках утраченной уверенности и безопасности.

Исходя из этого, мы смогли определить *границы* теории мирового общества риска. Но нельзя не признать, что критическая теория должна измеряться и тем, насколько успешно она смогла *преодолеть* те препятствия к действию, которые созданы линейно-автоматизированной модернизации, и насколько широко она смогла открыть дорогу политическим альтернативам.

25. Beck U. Soziale Wirklichkeit und Modernität: Versuch einer gegenwarts-historischen Bestimmung der Soziologie (рукописный вариант). Ambach, 1983.

26. Pofert A. Die Kosmopolitik des Alltags. Berlin: Sigma, 2004.

### 3. Политическая альтернатива: космополитическая «реальная политика»

Во взаимодействиях и антагонизмах конфликтов риска нетрудно различить черты будущей альтернативы — космополитического политического реализма, основные принципы которого могут быть обобщены в пяти пунктах.

*Первое:* мировое общество риска представляет собой новую историческую реальность, в которой ни одна нация не может в одиночку справиться со своими проблемами. В нем не работает ни идеалистически сформированный утопический интернационализм, ни замкнувшаяся в башне из слоновой кости философия социальных наук, но только политический реализм как необходимая точка зрения. Политический реализм — фундаментальный закон космополитической «реальной политики», вступающий в противоречие с концепцией одностороннего мира (unilateralism) правительства США и со встречными по отношению к этой концепции фантазиями европейцев.

*Второе:* глобальные проблемы требуют масштабной международной интеграции; и те, кто разыгрывает национальную карту, окажутся в проигрыше. Выживут только те, кто понимает и ведет национальную политику космополитическим образом. Неважно, сильны или слабы национальные государства — они больше не являются первичной инстанцией решения национальных проблем. Взаимозависимость теперь — это не бич человечества, а условие его выживания. Сотрудничество — это не средство, но цель. В настоящее время отдельные государства по большей части действуют односторонне и многосторонне, в зависимости от предметов их действия и области их применения. Глобальность все больше встречает сознательное к себе отношение, и все больше культур, стран, правительств, регионов и религий ей затронуты — и тем более неэффективным и просто нелепым выглядит одностороннее действие. При этом и эффективность, и обоснованность многостороннего действия — производные от сотрудничества государств. Если говорить совсем коротко, космополитическая реальная политика как метод предусматривает «окольный путь» (detour). Скажем, прогресс в решении нескончаемого конфликта на Ближнем Востоке не может быть достигнут изолированным прямым взаимодействием израильтян и палестинцев, но только кружным путем глобально продуманных и отмеренных региональных компромиссов, в которых каждая нация может что-то выиграть, среди всяких потерь и приобретений: Израиль «выиграет» безопасность, Ливан — суверенитет, палестинцы — свое государство, а Сирия — Голанские высоты, в настоящее время контролируемые армией Израиля. Поэтому и необходимо всем разговаривать и взаимодействовать, несмотря на все разделения и накопившуюся взаимную ненависть, чтобы заменить национальную игру с нулевой суммой игрой с положительным балансом, основанной на мирно признанной взаимозависимости.

*Третье:* международные организации — это не просто продолжение национальной политики другими средствами. Они связывают и трансформиру-

ют национальные интересы, полагая начало игре с положительным балансом между государствами, которая должна заместить игру с отрицательным балансом — игру в национальную автономию. Национальный (нео-) реализм до сих пор утверждает, что международные организации должны в первую очередь обслуживать национальные, а не международные интересы. А космополитический реализм уже требует, чтобы международные не служили ни национальным (в старом смысле), ни международным интересам, но чтобы они трансформировали все эти интересы (расширяя их до максимума) в *транснациональные* интересы, открывая нам новые транснациональные ниши власти и действия для большого спектра глобальных политических игроков, включая и отдельные государства. Но на кого или на что будет опираться эта космополитическая интеграция государств? Конечно, «национальные» интересы государств нельзя сбрасывать со счетов (как и требует реалистический подход в политологии), но нельзя не видеть, что они в корне трансформируются «космополитическим дополнением». Оно служит благу всех и каждого, потому что только так региональные и глобальные проблемы, которые и оборачиваются национальными проблемами, могут если не решаться, то хотя бы контролироваться в условиях расширения пространств политического. Создание международных организаций требует, чтобы США ограничились своим влиянием, которое служит только легитимации и дальнейшему распространению власти. Когда государства, обладающие различной степенью влияния, начинают сотрудничать перед лицом глобальных угроз, при этом следуя закону и высказывая уважение к демократическим ценностям — сама суть политического меняется.

*Четвертое:* отказ ряда европейских государств и Совета Безопасности ООН закреплять своей печатью милитаристскую односторонность США вовсе не привел к ослаблению ЕС и ООН, как подозревали многие комментаторы: напротив, и США, и Европа, и ООН приобрели большее доверие в глобальном мире. Легитимность политики глобального риска основывается в своем существе на глобальном разделении власти на власть применять военную силу и процедурную власть глобального общественного согласия. Только автономия ЕС и ООН перед наступлением военной силы США может наделить последнюю власть требуемой легитимностью. На первый взгляд неотменимая прямая взаимосвязь между национальным могуществом и национальной легитимацией, принятая в парадигме национального суверенитета, теперь на глобальном уровне антипродуктивна. Поэтому, если США добьются взаимопонимания с ЕС, это улучшит шансы США на обладание поддержкой ООН — а от единодушия США, ООН и ЕС все останутся в политическом выигрыше.

*Пятое:* односторонность неэкономична; тогда как космополитический реализм, напротив, является также реализмом экономическим. Он позволяет уменьшить и перераспределить расходы — не только потому, что военные расходы в любом случае во много раз выше, чем расходы на стратегию политических превентивных мер, но и потому, что расходы возрастают по мере утраты легитимации. Следовательно, разделить друг с другом ответствен-

ность и суверенитет — это значит и разделить расходы. Например, тогда можно финансировать экспертов США из бюджета ООН, заставляя их при этом действовать под эгидой международного права. Национальная односторонность пока часто мешает выигрышной на практике транснациональной политике. Но мы уже знаем, что сотрудничество между государствами, как важный элемент космополитического реализма, приносит только выгоду.

*Критическая теория мирового общества риска  
как социально-политическая самокритика*

В большинстве современных социологических теорий даже не возникает неизбежный, но не имеющий ответа вопрос: «Как возможна критика?» Но при этом никакая «критическая социология» или «критическая теория» никогда не смирится с релятивистской позицией или позицией чистого конструирования. Те социологи, которые принимают релятивизм или конструктивизм за основу своей методики, имеют особенность: они даже не шелохнутся, когда им показывают, что на самом деле они усвоили предпосылки того институционального порядка, который они как раз собираются исследовать, и потому просто пытаются укрепить (неважно, осознанно или нет) существующее положение дел в мире. Нормативность стала в последнее время вещью малоприятной: ее просто употребляют в тех процедурах, в которых нормативный идеал сопоставляют с деформированной реальностью, и тем самым получают предсказуемые выводы. Такая исследовательская деятельность вызывает возмущение немецких социологов, которые все-таки лелеют надежду, что им удалось избежать сомнительного удовольствия принимать участие в таких зловредных упражнениях.

Но при этом эти социологи не хотят понять, что социология, которая вне всякой рефлексии паразитирует на предпосылках исследуемого ей объекта и в этом смысле не является критической, не может справиться со своей основной задачей. Она следует навязчивым самоописаниям общества, вместо того чтобы порвать с ними; и значит, по-прежнему не способна ни к эмпирическому, ни к аналитическому определению (registering) того, что движет социальную и политическую реальность, со временем отсекая ее от нас. Самый удивительный, но при этом характерный для своего времени пример — это «методологический национализм», заставляющий социологию без рефлексии обречать себя быть «национальной социологией», когда представители нации изучают других представителей нации, удовлетворяя интересам третьих представителей нации. В национальной социологии весь мир делится на две части: «нас» и «всех остальных». Социология изучает только «нас», тогда как «других» изучают антропологи, этнологи и представители подобных дисциплин. Не стоит даже удивляться, что при таком разделении труда социология систематически пропускала мимо себя все смешения, связи и сплетения мирового общества риска. Тогда как реалистическая наука о мировом обществе риска предполагает открытую кри-

тику когнитивных контуров национальных контекстов действия, что возможно только при решительном разрыве с гомогенностью базовых предпосылок политического и методологического национализма — только тогда можно будет изложить все структурные особенности, противоречия, возможности и ограничения национальных паттернов действия внутри мирового общества риска. При соблюдении этого условия критическая теория мирового общества риска станет одновременно реалистической и критической: конечно, она становится реалистической именно потому, что является критической, и это позволяет ей критическим путем дистанцироваться от когнитивных структур национального взгляда на вещи, который пока еще господствует в социальных и политических решениях. Реалистическая критическая теория такого рода не создаст никаких помех реалистической научной социологии, но напротив, впервые сделает ее возможной.

Так как риск всегда имеет за собой конфликт, то антагонизм социальных акторов — внутри и между институциями, в рамках политических и сходных с политическими действий, в векторе социальных движений — становится плодотворным источником возможных альтернатив. Но при этом нельзя забывать, что только чувство реальности, а не изобилие норм, развивает в нас и способности, и чуткость — что впервые и позволяет нам фиксировать в социологических терминах целый спектр культурно определяемых альтернатив, всегда связанных с институционализированными практиками и с конституцией и организацией общества. Национальная социология, делая упор на интеграцию, имела неотрефлектированную уверенность в незыблемой норме, определяя по этому стандарту, что правильно, а что нет; но такой дуализм «нормы» и «девиации» не способен ухватить ничего из реальности мирового общества риска. Парадоксы и противоречия, встроенные в динамику мирового общества риска, разбивают на мелкие фрагменты хорошо организованные, но при этом одномерные категории нормального/девиантного поведения, равновесия/разрыва, субъективизма/структурализма и т. п. Даже различие возможного/реального распадается в присутствии реальной виртуальности риска. Другими словами, любой человек, выбирающий реалистический подход к рискам, должен (-на) открыться альтернативам. Именно здесь чувство возможности становится чувством реальности (используя известное выражение из романа Роберта Музиля).

Критическая теория мирового общества риска все больше проступает в самокритичных, реалистичных и полнозвучных голосах развивающегося мирового общества риска. Эксперты по страхованию критикуют тезис о нулевом риске инженеров и менеджеров, желающих сократить расходы на страховку. Конечно, они делают это не потому, что хотят включиться в национальную или глобальную игру могущества как мнимые критики, но только из чисто экономического собственного интереса: высокие риски выгодны бизнесу. Постколониальные социальные движения клеймят «внешние угрозы», которым они вдруг обнаруживают себя вновь подверженными, вовсе не из-за отсутствия модернизации, но из-за ввоза к ним проблем, созданных радикальной модернизации под ложным ярлыком «непрозрачных

побочных эффектов». Даже в организациях, кажущихся наиболее гомогенными, иерархичными и закрытыми, таких как вооруженные силы, эти критические голоса раздаются внутри, но иногда и вырываются наружу, когда речь заходит о рисках запланированного развертывания. Это вовсе не просто выпускание пара, разумно отмечают эксперты, возражающие на теорию нулевых рисков. Любая катастрофа подтверждает правоту этих экспертов — это уже закон. Более того, в наше время конец одной катастрофы становится прелюдией следующей.

Поляризация риска расширяет спектр самокритики внутри общества. То, что невозможно понять исходя из ложного горизонта гомогенизированных ценностей и норм, поможет нам объяснить реалистическая наука, направленная на создание космополитического реализма критической теории мирового общества риска.

*Март 2008*

Автор благодарит Эдгара Граундса и Кристофа Лау за ценные замечания.

*Перевод с английского Александра Маркова*